

лял в Академии Наук работу комиссий по светотехнике и по единицам мер. Под его руководством были выполнены большие теоретические работы по переходу на абсолютные системы практических электрических единиц, на международную шкалу температур и на новый эталон длины, по созданию эталона частоты и пр.

Немалое место в работе М. А. занимают труды по энергетике и электрификации, и его деятельность на Всероссийских электротехнических съездах. Не поддаются перечислению все его доклады, выступления и руководящие роли в бесконечных комитетах и комиссиях. Он был повсюду на первых местах и поражал своей разносторонностью и вездесущностью.

Энергия его была неиссякаема. Он был инициатором и руководителем многочисленных съездов и конференций и был признанным вожаком технической общественности.

Еще в 1934 году ему была присуждена ученая степень доктора технических наук.

При Политехническом Институте М. А. создал музей, отражающий историю электротехники, особенно русской. В этом музее он собрал образцы свечей Яблочкова, ламп Чиолева, Лодыгина, различных видов осветительной аппаратуры, электроизмерительных приборов и пр., а также образцы достижений электротехники XIX и XX веков.

М. А. много работал по истории электротехники. Венцом его работы является его книга «Русские электротехники второй половины XIX века», вышедшая в конце 1955-го года.

Труд этот Михаил Андреевич Шателен посвятил «Студентам Ленинградского Политехнического Института».

Скончался «Патриарх Русской Электротехники» — 31-го января 1957-го года.

Светлая память о нем останется в сердцах всех многотысячных учеников, а плодотворная деятельность его записана навсегда в историю Русской электротехники.

А. М. Ремизов

СТОЯТЬ — НЕГАСИМАЯ СВЕЧА

Евгений Иванович ЗАМЯТИН, 1884—1937. *

... море — могилы, мшистые кочки, крестная дорога разошлась по России — Россия, какой она мне снится, весенняя в мураве моей суздальской родины, то кукушачья — подмосковный звенигородский лес в вечерний час, или галочье ненастье — Петербург, куда не обернись: кресты.

Первый крест — наше последнее прощание: Блок, памятно как кровь: это и наше «прощайте» — последнее — русской земле. За Блоком Гумилев... Розанов, Брюсов, Добронравов, Андрей Белый, а в прошлом году Кузмин, Горький, а вот и Замятина похоронили.

*

«Стоять — негасимая свеча», так в старину о канонниках читали псалтырь, так мне сказало о Замятине, о его словесной работе. Только Андрей Белый так сознательно строил свою прозу, а положил «начало» Гоголь — первый Флобер в русской литературе, а за Гоголем, за Марлинским, Слещев...

Я лежал в жару. Только газета, перо и кисточка. В память Пушкина я хотел изобразить его сны — шесть снов; рисование помогает моему глазу различать в темноте цвет;

Е. А. Замятин был кораблестроителем первого приема 1902 г. и окончил Институт в 1908 году. Был выборным старостой от с.-д. в нашем первом Совете Старост. Несколько лет работал на заводах по своей специальности. Начал свои литературные выступления после летней практики на судостроительном заводе в Англии и скоро целиком отдался писательству. После революции остался в России, выехал за границу только в 1930 году после знаменитого его письма Сталину, выдержка из коего приведена в этой статье. Оставил по себе видный след в послевоенной русской литературе.

видений чего не схватить словом, — а температура мажет краски. В сумерки мне сказали, что произошла «большая неприятность». Сказано было голосом, я знаю все его оттенки, и я почувствовал очень тревожное. Мысленно пронеслось: налог, молочница, газ, электричество — кому только не должим!

«Евгений Иванович ЗАМЯТИН помер!»

В ту ночь: сижу на кухне у стола, а ко мне лицом у плиты примостилась, подбородком на плиту и правую руку так, торчмя над головой держит, как кот лапу, когда ищется, но это была не канонница Нестерова, «негласная свеча», белица «Лесов» Печерского, а очень худенькая, совсем еще подросток, костлявая с неправильным лицом, я понимаю, нос переломан, и не прямо, из-подлобья трудно — веки ее до кирпича воспалены — смотрит на меня — ... за пять лет заграничной жизни, — продолжаю о Замятине, — все он куда-то торопился ... или это его «сценарии» отнимали все его время? — кинематографический сценарий! какое тут словесное искусство? Или хлопоты об устройстве своего, по-французски, переводы? Но до верхов все равно не добраться: подлинные словесные конструкции непереводаемы, а архитектурными, при ихнем-то богатстве, ведь мы на родине Буало, — не удивишь. «Мысли» и «познание» — извороты и тайники человеческой души ... но надо что-то от Толстого, Достоевского, или хотя бы от Салтыкова. Или надо было добиваться, поддерживать связи с их пустыми обещаниями и ожиданием — вроде миллионной лотереи — самообманом, а вдруг да ... ? И вот все некогда.

И так мало было сказано за эти годы. И только раз на Марше д'Отей, на нашем базаре, я за картошкой, он с почты, и почему-то я стал говорить, вспомнив Петербургское, о его рассказах, как хорошо он пишет: «... когда же заговорите своим голосом?» А хотел я сказать, и он понял, я хотел сказать, что во всех его прекраснейших строках я не чув-

ствуя музыки и надо что-то — но что еще надо? — чтобы распечатать его сердце — «когда-же?» И он мне ответил: «будет», — и напомнил, что раз я его спрашивал и теми же словами в Петербурге. И я подумал: нет, это у него от математики. «Вы понимаете, откуда серебряная песня Гоголя, раздумная печаль у Толстого, огненная боль у Достоевского, тоска у Чехова.» И вдруг я понял ... мне почуялось: «будет», как сказал Замятин, но какой это был скрипящий голос, такие никогда не поют, я понял, что это она — с переломанным носом и торчащей, как лапа, рукой с большою сморевшая на меня ... душа Замятина и что больше никогда не «будет». И мне было трепетно смотреть на нее.

Оттого ли, что словесное Замятина так неразрывно с моим и наша общая любовь к русскому «старому пению» (потом уж я узнал: последнее, что унес он на тот свет, слышал незадолго до смерти, был Мусоргский), с Замятинным у меня связаны сны. Сам он закрыт от этого мира и не было у него двойной памяти.

Когда я писал о его «Огнях св. Доминика» (1920) — Замятин по природе не лирик, и только строитель, не мог создать трагического театра, — и вышло под оперу, я много об этом думал и мне приснилось. Я увидел одно из самых страшных по сказаниям: его видение было заслонено еще двумя, стоявшими один за другим, и через их глаза я проник и увидел: в его глазах кипел нестерпимо щемящий огонь — это был «демон пустыни» — демон одиночества, безпризорности и отчаяния.

В пасмурное петербургское утро похоронили Замятина.

Не пришлось проводить его на далекое кладбище, где хоронят русскую безпризорную бедноту. Но мне казалось я все вижу, и под дождем и ветром мне очень зябко — я видел, как вынесли досчатый гроб и я вспомнил Некрасова, нашу традицию и жестокую судьбу «сочинителя». И каким ненужным показался мне дурацкий кинематограф — работа

последних лет Замятина; ведь дело его жизни, все эти словесные конструкции русского лада — это наше русское, русская книжная казна. И мастерство. Вы думаете, сел и написал, и напечатали, нет: взять готовый набор и рассыпать, и уже голыми руками за эти раскаленные до-бела буквы, чтобы закрепить из тысячи одно слово! И моя была горстка земли в его могилу, мое последнее прощайте, мое признание за его труд, его работу и мастерство.

Замятин из Лебедяни, тамбовский, и стихия его отборно русская. Прозвище: «англичанин». Как будто он и сам поверил — а это тоже очень русское. Внешне было «прилично» и до Англии, где он прожил всего полтора года, и никакое это не английское, а просто под инженерскую гребенку, а разойдется — смотрите: лебедянский молодец с пробором! И читал он свои рассказы под «простака».

Таким вот англичанином под простака я увидел его в день похорон: к книжной полке у окна он прислонился. Видят его или нет я не знаю, но я вижу: он в смокинге, глаза закрыты и лицо розоватое, очень чистое, и только руки, он описал их в «Мы», покрыты шерстью, висят. В комнате горит электричество. И вдруг, как механически, он опустился на пол, ноги не разгибаясь вытянулись, и он сел. А вдруг поднялись мои «чудовища», фейерменхены в колпачках и цверги, сучки, рогатины и «потукушки», и я заметил, он сделал так-ртом. «Смотрите, он дышет!» Но в это время электричество стало гаснуть. «Я подолью!» не сказал я «керосина», но это понятно. А свет уже погас. И вошел Горький узнать нельзя, как от куафера, эндефризабль, — такая африканская шевелюра. Я поздоровался. А он, не отвечая, и очень деловито ногой отпихнул моих цвергов, поднял Замятина себе на руки и понес под мышкой, как книгу.

Замятин не болтун литературный и без разглагольствования: за 29 лет литературной работы осталось — под мышкой унесешь, на вес — свинчатка.

В революцию стали поговаривать: справедливо ли литературные произведения на версты мерять? Но писатель по преимуществу болтун и на простой глаз чем толще книга, тем умнее, — и в революцию ничего не вышло и, как прежде, — гонорар рассчитывается по количеству типографских знаков. Замятина не много перепало.

Выступил Замятин впервые у Арцыбашева осенью 1908 г. в «Образовании». На год позже Прищвина и на шесть Андрея Белого и меня. Что это за рассказ написанный по слову Замятина, «одним духом» во время экзаменов при окончании Политехнического Института, легко судить по редактору: младенческое пристрастие к женской груди — повторяющийся и очень яркий образ у Замятина («Рассказ о самом главном», «Ела», «Наводнение»), вот где его начало, а от стиля — Арцыбашевский прием под Толстого с бесконечным «потому что», «ужасно» — следов не осталось. А стали знать Замятина с «Уездного» (1912), появившегося в майских «Заветах» 1913 г. у Иванова-Разумника.

Мартовская книжка «Заветов» 1914 г. была конфискована за повесть Замятина «На Куличках». Цензура усмотрела обличание офицерства. Замятин не Куприн, знал военный быт со слов, и нечего искать в повести «этнографии», это было то же «Уездное» с введением «рефренов» из «Симфоний» Андрея Белого и известного приема «неоконченной фразы». Но для общей критики это не важно; важно было: конфисковано.

А покорила Замятин Горького «Островитянами», произвело впечатление: Англия. Что было английского в сатире, кроме туристических слов, не разбирались: А н г л и я .

Замятин не революционер, никаких словесных прорывов и взлетов Андрея Белого; он оставался в круге «Уездного», облюбовывая каждый камушек и застраивая до сложнейшего «Мы». Высшее достижение словесного искусства: «Север» (1919), «Русь» (1923) и «Пещера» (1923). Но лучшим остается «Уездное».

«Стоять — негасимая свеча»... канонница не только читала псалтырь, а и учила грамоте детей. В революцию славились: Гумилев и Замятин. Замятин учил прозе, и не один из современных писателей обязан его науке. Замятин незаменимый педагог, и если материал оказался неблагодарным, не его вина.

В революцию «Мы» (1920), Замятин блеснул своей математикой и своим Уеллсом — сатира на «Заветы принудительного спасения» «Островитян». А судьба «Куличек»: усмотрено было обличение, говоря по «московски», вульгарного социализма и левацкого загиба, и это в таком словесном стальном переплете, не искушенному никак не добраться до уголька.

В революцию — театр, с ним Замятин приехал за границу «удивлять» Европу.

Трагедия «Атилла» (1928), о которой сам Алексей Максимович отзывался, как о «героической» — «высокоценная и литературно и общественно», получившая одобрение таких знатоков и ценителей литературного мастерства, как представители 18-ти Ленинградских заводов. И про которую сам Замятин пишет: «дошел до стихов, дальше идти некуда».

Занимаясь историей Атииллы, Замятин, еще в России начал роман «Атилла»; кончена 1-я часть.

Замятин помер от грудной жабы. Какое же огорчение забило душою Замятина?

«Организована была небывалая еще до сих пор в советской литературе травля. Сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи издательства. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса снята с репертуара. Печатание моих сочинений приостановлено. Последняя дверь к читателю была закрыта: смертный приговор опубликован. В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора явля-

ется выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР. Если же я не преступник, я прошу раз решить мне вместе с женой, временно, хотя бы на один год, выехать за границу — чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям...»

В La Revue de France 1936, VIII, Замятин в своей памяти о Горьком рассказывает, как благодаря Горькому получил от разрешения выехать за границу. Следует добавить, что Горький передал Сталину письмо Замятина.

И в третий раз я увидел его во сне. Это когда я стал перечитывать его книги и думал, как напишу о нем.

Я его увидел у калитки сада — чудесный сад! — он был не тот затравленный, озирающийся, с запечатанным сердцем и запечатанными устами, каким он появился в Париже, а тот Замятин, каким он пришел к нам на Таврическую, после «Уездного». И я подумал тогда: «какой он умный!»

И мы вошли в сад.